

Б

БАБА. Понятие Б. имело для Р. свое определение, которое он выразил таким образом: «Мне не нужна «русская женщина» (Некрасов и общественная шумиха), а нужна русская баба, которая бы хорошо рожала *детей*, была верна мужу и талантлива. Волосы гладенькие, не густые. Пробор посередине, и кожа в проборе белая, благородная. Вся миловидна. Не велика, не мала. Одета скромно, но без постного. В *лице* улыбка. Руки, ноги не утомляются. Раз в году округляется» (СХР, 15–16). Развивая это определение, Р. писал: «У настоящей бабы не только две титьки (можно для цензуры «т...ки»), но и *живот* на 4-м месяце *беременности*, да за подол юбки держатся двое мальчишек 3-х и 5-ти лет, да под мышкой — узелки, а на руках корзины. И за спиной — узел. Так что кажется, у нее не две, а двенадцать титек. Это *добро*. И пусть это добро будет русское. Такую бабу муж любит, деверья любят, свекор-свекровь не нахвалятся, ребятишки слушают и закон чтит. П.ч. это добрый русский закон» (ПЛ, 69). Смысл понятия Б. писатель выразил еще раз в рассказе о том, как тетюшки заставили молодую жену, уклонявшуюся от деторождения, забеременеть. В отсутствие мужа они привязали ее к кровати и дали 50 розг с обещанием «всю шкуру содрать», если она не бросит эти свои «каучуки» и не забеременеет. И подействовало. Р. завершает свой рассказ словами: «Я много раз замечал — острым глазком «со стороны», — что при всех «нравах» русские бабы имеют нечто классическое в себе и не дадут шагу перед собою ни гречанкам, ни римлянкам, ни еврейкам. «Брюхо есть брюхо, и ты это понимай». А «*понимание*» состоит в том, что не без причины же и не без воли и Предвидения-Провидения Вседержитель дал *грудь* женщине, живот и все чудное устройство в нем для деторождения и детопитания. И окружил все это инстинктами, как бы духовной атмосферой около «видимой земли» <...> Есть тайная *радость* чресл (как я давно писал) у всего круга родства — к беременности каждой в роде. Ведь ожидают, разевают *рот* как птенчики в мировом гнезде (*мир* есть гнездо), с этим: дай! дай! дай! — роди! беременей, зачинай!» (М, 308). В статье ««Бабы» *Малявина*» (МИ. 1903. Т. 9) Р. писал о картине: ««Три бабы» *Малявина* выражают Русь не которого-нибудь века, а всех веков, — но выражают ее не картинно, для сложения «былины», а буднично, на улице, на дворе, у колодца, на базаре, где угодно» (СХ, 212). А через 10 лет Р. делает приписку о стремлении художника «представить, выразить и понять русское женское существо»: «Нужно, конечно, было изучать и брать не

«дам», а баб. Отсюда — сюжет и имя. «Бабы» — это вечная суть русского, — как «*чиновник*», вообще, «*купец*» вообще же, как «*боярин*», «*царь*», «*поп*». Это — схема и прообраз, первоначальное и вечное» (СХ, 214–215). «В моей *душе* это русское слово «баба» было самым уважительным» («Копьеносицы» // МВ. 1916. 6 окт.; ВЧВ, 389).

См. также *Женщина*.

А.Н.

БАБОЧКА — один из *символов* в творчестве Р. Свое первое впечатление от встречи с Б., переживание ее *красоты* Р. осознает как глубоко религиозное: «Сколько воспоминаний, как замер я, лет тринадцати, увидав медленно пролетающую «какую-то особую бабочку»... И вот она села... и медленно перебирает ножками по пруту... а на двух поднятых, средней величины, крылышках я увидел широкую «траурную» кайму, настоящую траурную: белая лента по темному, почти черному фону... Но не черному, почему-то черных цветов у бабочек нет, у жуков есть (почему? Боже, почему это?!). А когда я ее наконец поймал в сачок и, нежно взяв за тельце, рассмотрел крылья, я был ошеломлен красотой этого темного и не черного цвета, оттененного «трауром»... Создал же *Бог...*» (ЗРП, 117). Вероятнее всего, Р. имел в виду траурницу *Nymphalis antiopa* (Vanessa). Восторженное впечатление от этой «замечательной русской бабочки» описал еще С.Т. Аксаков (Аксаков С.Т. Собрание бабочек (1858) // Аксаков С.Т. Собр. соч.: В 3 т. М., 1986. Т. 2. С. 160–161). Самое сильное впечатление на Р. произвела углокрыльница С-белое (*Poligonia C-album*): «Но как настоящим волшебством я был поражен, увидав у «какой-то бабочки» в низу крыла белоснежное «С» и... с точкою!!! <...> так одно-единственное «С» на крыле бабочки поразило меня почти религиозным *страхом...*» (ЗРП, 117). Подобным образом этой Б. удивлялся и С.Т. Аксаков: «Нам казалось очень странным, даже невероятным, как это у бабочки на крыльях изображена белой краской буква С., да еще и с точкой?» (Аксаков, 164). Началом своего увлечения Б. назвал Р. очень яркий *сон* «о не пойманных еще бабочках и жуках»: «Я ночью сижу у костра в лесу: и вот ко мне начинают слетаться (я знал, что «на *огонь*» летят «они»...) великолепные жуки... и из них один, дровосек, с такими длинными усами, как я и не мечтал. И такое *счастье*: летят, ползают, не боятся меня, и я разглядываю все их великолепие форм и цветов...» (ЗРП, 117). Из видов Б., кото-

рых Р. удалось в детстве поймать, он называет нимфалид — павлиний глаз (*Inachis io*), адмирал (*Vanessa atalanta*), парусник, или кавалер — «изумительный красотою махаон» (*Papilio machaon*), «чудесный» подалирий (*Iphiclides podalirius*), «громадный белесоватый аполлон» (*Parnassius apollo*), а также Б. из семейства бражников, или сфинксов (*Sphingidae*): «Этот, как теленок: столько тела и так он не похож по типу на “легкокрылую бабочку”. Толстое коническое тело, узкие, очевидно сильные, крылья. “Бука”... Пропорционально другим бабочкам, в сфинксе есть что-то странное. Сфинксы все редки и чудесны» (ЗРП, 118). При этом Р. уточнял, что самую знаменитую Б. из бражников — мертвую голову (*Acherontia atropos*) «никогда не видал иначе, чем в сухих коллекциях» (ЗРП, 117). Р. отмечал, что в детстве «жизни бабочек» еще не знал, он познакомился с ней в книге Дм. Кайгородова «Наши весенние бабочки» (С красочными таблицами и рисунками по акварелям с натуры Т.Д. Маресевой), рецензию на которую он написал (НВ. 1910. 30 марта; ЗРП). В детстве, увидев неожиданно появившуюся из куколки Б., Р. осознал греховность коллекционирования бабочек: «Еще гимназистом я раз положил хризалиду (куколку) в коробку, но долго ничего не мог дожидаться и уже принял ее за мертвую. Раз подхожу утром и открываю коробку: меня не испугалась, впервые увидев человека, чудная белая ночная бабочка, огромная и нежная. Я с волнением смотрел на нее, на ее еще не потерявшие ни одной чешуйки крылышки. Что-то святое и чудное повеялось от нее на меня. Я почувствовал, что до нее ужасный грех было бы дотронуться, погубить ее доверчивость и воспользоваться неопытностью, тут же наколол на булавку. И я выпустил ее» (ВМНН, 84). Позже свое детское коллекционирование бабочек Р. оценил как уничтожение природы, пасхальной по своей сути: «Коллекция же пустое тщеславие ей-ей не стоящее жизни “легкокрылых”. Я убивал, составлял коллекцию и чувствую до сих пор это как грех перед природой. “Ну-ка, живого человека бы посадить на булавку”. А все животные, все до человека, суть “неразвившиеся люди”, и ива “дремлет”, а к Пасхе пробуждается. Точно кивает с ив: “Христос воскрес”...» (ЗРП, 118). Р. жалеет Б., подобно дяде Ерошке из «Казаков» Л.Н. Толстого (гл. XV). Он углубляет и античную традицию, в которой Б. — символ души (греч. ψυχή означает «душа» и «бабочка». — Аристотель. История животных. IV. 7). Мотылек для Р. — символ целомудренности души, которую может разрушить излишняя рефлексия, психологический анализ: «Поддержали мотылька, только поддержали между пальцами: любовались им, любили его; а из рук выпустили уже изуродованного, сняв с пушистых крыльцев пыльцу и разрушив целостность удивительной, из рук Творца вышедшей, гармонии красок» («Учитель и ученики, гений и простые смертные» // НВ. 1904. 13 окт.). Б. является для Р. символом души в ее интимности, последней глубине, символом тайны личности в ее общении с Богом: «На душе читателя, как на крыльях бабочки, лежит та нижняя последняя пыльца, которой не смеет, не знает коснуться никто, кроме Бога» (АНВ, 44). О Б., вылетающей из куколки, как символе духовного роста, Р. писал в 1899: «Пушкин вырастал из каждого поочередно владевшего им гения, — как бабочка вылетает из прежде живой и нужной и затем уми-

рающей и более не нужной куколки <...> Это — любовное, любящее оставление, именно, вылет бабочки из недавно соединявшейся с нею в одно тело оболочки, “ветхой чешуи”» (ОПП, 41). В 1901 размышляя о «золотом веке» Ф.М. Достоевского, Р. пишет о дарвиновском «горилле-человеке» как «куколке», «хризалиде “к воскресению”», отмечая «болезненную и скорбную метаморфозу человека-куколки в человека-бабочку, окрыленную, новую, по-новому чувствующую, новое все совершающую»: «Бабочка все не так увидит, как кажется червячку. Она подымится. Увидит сверху леса, полетит над ними, увидит голубое небо, звезды, солнце: это — возможно! Между тем как червячок видит только черное дупло, в котором лежит он» (ВДЯ, 189). Р. продолжает метафизику Достоевского, который в подготовительных материалах к роману «Бесы» устами Князя (Ставрогин), размышляя о вере в загробную жизнь, говорит о куколке и Б. как символах перерождения человека из земной жизни в духовную: «Мы, очевидно, существа переходные, и существование наше на земле есть, очевидно, непрерывное существование куколки, переходящей в бабочку <...> земная жизнь есть процесс перерождения» (Достоевский Ф.М. ПСС: В 30 т. Л., 1974. Т. 11. С. 184). Р. обращает внимание на эти слова писателя в интерпретации Д.С. Дарского, который понимает убеждение Достоевского в неминуемом преображении человеческой природы, в ее коренном обновлении как его «самую кровную и трагическую идею», из которой «питалось все его творчество» и «неуловимым духом» которой «овеваны его писания» (ОПП, 624–625). Мысли Достоевского об изменении человеческой природы в загробном мире, символом которого стала Б., Р. продолжил в «Апокалипсисе нашего времени», где образ Б. как символ энтелихи становится ключевым в размышлениях о бессмертии души человеческой, об особой форме ее материального существования в загробном мире: «бабочка есть энтелиха гусеницы и куколки»; «“бабочка” есть на самом деле, тайно и метафизически, душа гусеницы и куколки» (АНВ, 52, 55, 25). Б. для Р. символ третьей, последней фазы «космогонической», онтологической модели мировой жизни, приобщающей «жизни, гробу и воскресению»: «В фазах насекомого даны фазы мировой жизни. Гусеница: — “мы ползаем, жрем, тусклы и недвижимы”. — “Куколка” — это гроб и смерть, гроб и прозябание, гроб и обещание. — Мотылек — это “душа”, погруженная в мировой эфир, летающая, знающая только солнце, нектар, и — никак не питающаяся, кроме как из огромных цветочных чашечек» (АНВ, 24). Доказанное при помощи Б. «потрясающее» космогоническое открытие бессмертия души человеческой Р. подтверждает и существованием египетскими мумиями: «в мышлении и открытиях “загробного существования” шли тем же путем, как я, т.е. “через бабочку” и ее “фазы”»; «древние же поняли, что “в 4-х фазах” дан образ земного жития вообще существ... С тем вместе “образ бытия под-солнечного”. Жизнь в утробе, рождение и обжорство, смерть неумирающая, и “душа в раю”» (АНВ, 55, 283). В полемике с христианством биологическая жизнь Б. (совокупление, эротически понимаемое собирание нектара с цветов) является для Р. аргументом в обосновании особого материального, эротического существования души в загробном Эдеме: «“Мотылек” есть

“будущая жизнь” гусеницы, и в ней не только “женятся”, но — наоборот *Евангелию* — при сравнительной неуклюжести гусеницы, при подобии смерти в куколке, — бабочка вся только одухотворена, и, не вкушая вовсе (поразительно!! — не только хоботок ее вовсе не приспособлен для еды, но у нее нет и кишечника, по крайней мере — у некоторых!!), странным образом — она имеет отношение единственно к половым органам “чуждых себе существ”, приблизительно — именно *Дерева жизни*» (АНВ, 24); «Эта “энтелехия” гусеницы и “куколки” (как же иначе назвать) имеет крылья, парит в солнечных лучах: но самое главное, вся ее жизнь, все существование проходит в том одном, что она и не имеет, и не создана ни для чего еще кроме “посягновения” и “женитьбы”» (АНВ 283). Б. является для Р. и символом *семьи*: «Человек, из полового акта вышедший и из страстно-половых частиц сложенный, есть во всем своем “я”, “целом” и “дробном” — половое же существо, страстно дышащее *полом* и только им, в битвах, в пустыне, в отшельничестве, в аскетизме, торговле, но в самом чистом и святом виде, в самом нормальном — семье. Торговля и *политика* — куколки и гусеницы; а мотылек, “душа” — семья» (ВТРЛ, 289). Через образ мотылька Р. осмысляет послереволюционную судьбу европейской культуры: «*Европа* — гусеница прожорливая, бесстыдная, гадящая землю, портящая сады, деревья, кусты, капусту, розы. Но время настало ей окукливаться, замирать, умирать. Она не вся умрет; мотылек вылетит. Этот-то “в небесных садах” насладится Древом жизни» (АНВ, 239). В 1918 мотылек для Р. — символ духовной культуры, уничтоженной *революцией*: «И вот — “живут”, но — “прохвосты”. *Боккачио, Вольтер, Герцен*. “Живет” революция, хамство, подлость. Нет — Алкивиада, есть — Чичиков. Нет — мотылька, оборваны его золотые крылышки; “супротив его” — мужик хам и революция» (ВНС, 349).

А.А. Медведев

БАНЯ. Одним из главных увлечений Р. наряду с коллекционированием монет была Б., причем именно настоящая русская, с паром. Это увлечение началось, как пишет Р., в студенческие годы, в *Москве*, когда он «почти из физиологической любознательности, пошел повторить купцов, так сказать, допросить, что они чувствуют в этой чепухе». «И с тех пор “баня” и “пар”, — сообщает Р., — для меня неотделимы» (ПР. 1899. Март-апр. № 29). На втором курсе *университета* Б. с паром уже вошла у Р.-студента в привычку: «Я пришел домой, бросил *книги* в угол комнаты, решил идти в баню, чтобы смыть всю тяжесть экзаменов легким московским паром» («Слово Божие в нашем учении» // НВ. 1901. 16 авг.; ОЦС, 76). В статье «О деликатности и прочих мелочах» (РС. 1910. 24 окт.) он вспоминает о своих студенческих годах в *Москве*: «И я любил ходить в баню (“дворянские”»)» (ЗРП, 373). В 1888 Р. пишет *Н.Н. Страхову* из *Ельца*: «Сегодня я был в баньке, а этот день для меня всегда праздник: после нее я позволяю себе не делать — и даже не думать ни о чем нужном, а только о приятном, или даже вовсе ничего не думать» (ЛИ, 186). Но иногда Б. становилась и местом размышлений: «Я только что в эту минуту из бани и всю баню (любимейшее мое времяпровождение и единственный радикальный отдых,

равно как и прибежище во всех горестях) думал <...> Я в бане все думал, не стал ли я в самом деле низок в *Петербурге*, вот хлопочу о месте, жалуюсь» (ПР. 1896. Янв.-февр. № 37). Из собственных наблюдений Р. делает вывод об особой любви к Б. с паром трезвенников и даже *евреев*: «Я очень присматривался в *жизни* к этому, и наблюдал, напр., такое соотношение: абсолютно трезвые люди необыкновенно любят париться в бане: в *Брянске* (есть только общие бани) когда кто чрезмерно парится, заговорят остальные: “Он — точно жид парится” (вот — необыкновенно: жида, т.е. южный народ, и у коих “баня” и “пар” не есть исторически-бытовое явление, более и страстнее русских парятся)» (ПР. 1899. Март-апр. № 29). В 1906 Р. поселился в Большом Казачьем переулке. *А.М. Ремизов* вспоминал: «Жили мы по соседству: Розанов в Б. Казачьем переулке, мы — в Малом Казачьем; нас разделяли Егоровские бани» (Ремизов А. Кукха. Розановы письма. Нью-Йорк, 1978. С. 57). Очевидно, что на выбор Р. новой квартиры повлияло ее расположение рядом с Б. Отмечая события за 19 октября 1905, Ремизов пишет: «А В.В. Розанов вчерашний день в баню ходил!» (Там же, 27). В характерно розановском духе написан его этюд, посвященный сопоставлению русской Б. и английской конституции: «Баня глубоко народна; я хочу сказать — русского народа нельзя представить себе без бани, как и в бане собственно нельзя представить никого, кроме *русского человека*, т.е. в надлежащем виде и с надлежащим колоритом действий. Если вы хотите кого-нибудь сделать себе приятелем и колеблетесь, то спросите его, любит ли он баню: если да — можете смело протянуть ему руку и позвать его в *семью* вашу. Это — человек *comme il faut*. Обычай бани есть гораздо более замечательное историческое явление, нежели английская конституция. Во-первых, баня архаичнее, т.е. с точки зрения самих англичан, — почтеннее: она более, нежели конституция, историческое *comme il faut*; во-вторых, она демократичнее, т.е. более отвечает духу новых и особенно ожидаемых *времен*. Идея равенства удивительно в ней выдержана. Наконец, английская конституция для самых первых мыслителей *Европы* имеет спорные в себе стороны, бани никаких таких сторон не имеют. Но самое главное: в то время как конституция доставляет удовлетворение нескольким сотням тысяч и много-много нескольким миллионам англичан, т.е. включая сюда всех избирателей, — баня доставляет наслаждение положительно каждому русскому, всей сплошной массе населения <...> Мы уж не говорим, что выборы — суэта, грязь, нечистота, во всяком случае тревога и беспокойство для всех участвующих, баня для всех же — чистота и успокоение. Баня имеет свои таинства: это — “легкий пар”. Кто не парится, тот, собственно, не бывает в бане, т.е. не бывает в ней активно, а лишь презренно “моется”, как это может сделать всякий у себя в кухне, как это сумеет всякий чужестранец. “С легким паром” — эту фразу неизменно произносит всякий, входящий в баню, ни к кому не обращаясь и всех приветствуя» (ЛВИ, 346–347). Подводя итог, Р. отмечает особые достоинства Б.: «Баня уже самою *мыслью* своею располагает к благожелательству — и это есть одна из самых тонких ее черт. Она проста и безобидна; она есть чистота на первой и самой необходимой ее ступени — физической; она — поток общения и какого-то